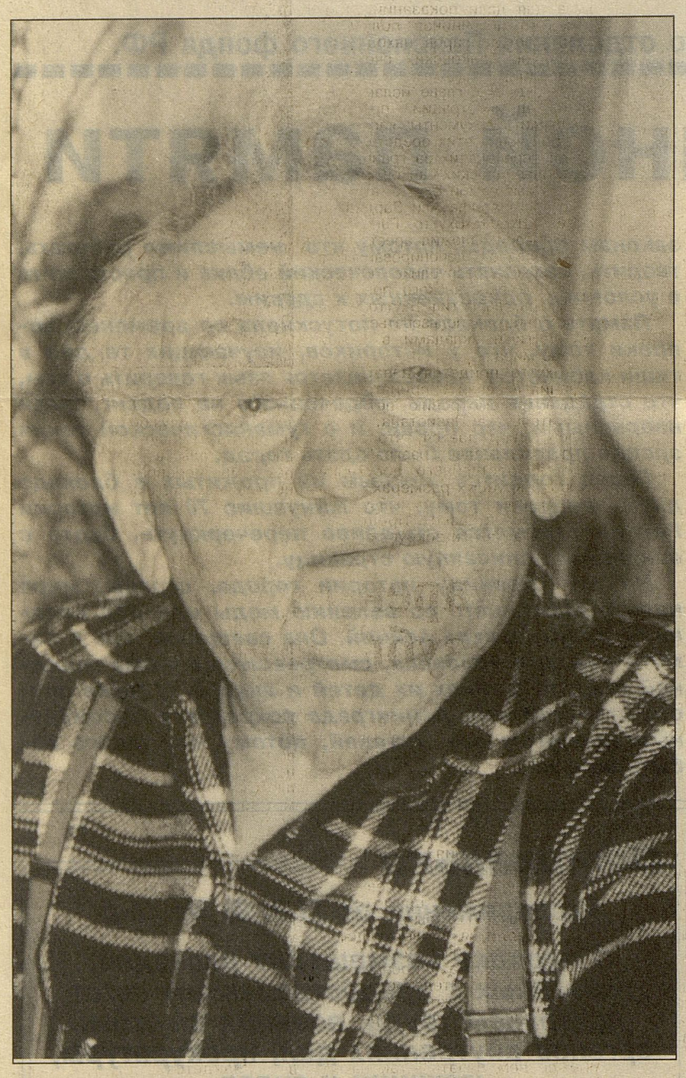
За мертвых обидно и перед живыми стыдно



Жизнь круто протащила его по своему извилистому руслу. И, как это часто случается с людьми, рожденными в глухие времена смуты, он, пожалуй, теперь и сам не скажет, в какой степени "путешествие" вышло удачным и успешным. Прожито—и точка. Ибо много чего перевидал Степан Адамович Волосевич на этом свете—страшного и смешного, обидного и достойного, наивного и трагического...

Можно считать, наверное, что Волосевичу повезло больше других: в 20-е его обошла стороной жестокая человекокосилка Гражданской войны; потомственный обитатель бедной и темной белорусской деревни, он в 30-е годы сумел вырваться за круг традиционного уклада жизни и получил в Ленинграде образование, о котором прежде в семье никто не мог даже мечтать; он не был заклеймен "врагом народа" (хотя подбирались и к нему), его миновали сталинские лагеря; наконец, в 1941 году он избежал отправки на фронт (если, конечно, Ижорский завод, где Степан Волосевич работал цеховым начальником, можно было считать тылом), не попал под фашистский снаряд, не умер от голода в осажденном Питере...

Ему повезло больше других, ибо, пережив на своем веку многих друзей и близких, он не пытается, как многие, играть роль человека, брошенного жизнью и забытого единомышленниками. И, дожив до глубокой старости, сохраняет трезвость ума и ясность воспоминаний. А еще—крепкий, неистощимый юмор, свойственный лишь людям, лишенным болезненного цинизма и чувства враждебности к окружающим...

Было время—он мог пойти по номенклатурной части. Но профессиональным партийцем Степан Волосевич, не стал. Высшее партийное начальство, недовольное "сомнительными контактами" Волосевича поставило на его номенклатурной карьере большой и жирный крест (последние заключались в том, что Волосевич, тогдашний секретарь райкома комсомола, делил комнату с опальным—при Сталине— соратником Феликса Дзержинского, сосланным в провинцию на партработу).

Ему нельзя было оставаться более в Белоруссии, и он в буквальном смысле сбежал в Россию, в Ленинград, где, кажется, никто, ни одна чиновничья душа не знала, кто такой Степан Волосевич и какие там у него на родине служебно-партийные неприятности. В Ленинграде Степан Волосевич выучился на инженера-металлурга. Уклонился от надвигающейся грозы. Или ему только казалось, что уклонился?

Некоторое время спустя, когда вслед за убийством Кирова по стране покатится очередная волна арестов и расстрелов, его вызовут на Литейный и припомнят близкое знакомство с местечковым "лидером террористической троцкистской группировки", с которым Степан Волосевич был дружен в детстве. В сценарии деятельности этой самой "группировки", состряпанном энкэвэдэшниками на скорую руку, Волосевич значился связным. Мне показалось, он и сегодня не может понять, как ему удалось выйти из "Большого дома" живым и свободным. Но ведь вышел же! Жизнь подарила Степану Волосевичу приятное "исключение из правил". И надо признаться, таких исключений в судьбе Степана Волосевича было немало...

Война и блокада не совершили в его жизни героического перелома: он продолжал работать, как того требовали время, партия и правительство. Рассказывает он об этом буднично и просто—без пафоса, без слезы, без надрыва. Или воспоминания с годами эмоционально "остыли"?

Осенью 1941 года, когда фронт расположился буквально за стенами Ижорского завода и рабочие стали "по совместительству" солдатами-ополченцами, он много раз видел, как люди, окончив смену, разбирали из козел учебные винтовки и охотничьи ружья (настоящее боевое оружие было редкостью) и отправлялись на передовую. Тогда же, в декабре 41-го, война заставила Степана Волосевича стать "похоронщиком"—термическая печь в его цехе была превращена в крематорий, где сжигали тела погибших. Это был первый крематорий блокадного Ленинграда...

В холодном, ледяном декабре 41-го на Ижорский завод приехал тогдашний командующий Ленинградским фронтом Федюнинский. Он просил о помощи. В боях под Колпином наши войска несли тяжелые потери, а хоронить убитых у армии не было ни сил, ни времени. "Могут ли ижорцы помочь нам в этом?"—спросил командующий. Главный инженер завода Аверин ответил ему: "Попробуем".

В цехе № 3, которым руководил (командовал?) Степан Волосевич, было две печи с выдвижным подом—в них производилась термическая обработка листовой брони. Печи, конечно, работали от случая к случаю—не хватало топлива, завод к зиме уже практически "встал". Волосевич предложил использовать одну из них для сжигания тел погибших. Мазут командование фронтом "нашло" в Ленинградском морском порту. Однако, для того чтобы форсунки печи заработали, требовался сжатый воздух или пар, которых на обледеневшем заводе не было вовсе. Тогда смекалистые ижорцы подогнали к цеху паровоз и длинными шлангами соединили его с печью...

—В ту же ночь с фронта на завод пришла машина с трупами. Мы погрузили убитых в печь и включили форсунки. Оставшуюся после кремации золу остудили и пересыпали в железные банки из-под карбида, а именные списки снесли в первый (секретный) отдел... Некоторое время страшный груз так и стоял в цехе. Но машины с фронта приходили на завод чуть ли не еженощно, убитых было очень много, печь работала круглые сутки... Когда же самодельные урны стало некуда ставить, их перенесли в траншею, отрытую за стеной механического цеха. Такие траншеи назывались щелями—в них рабочие завода прятались от фашистских бомб и снарядов...

По подсчетам Степана Волосевича, за несколько месяцев 41-го и 42-го года в цеховой печи были сожжены останки более 6000 солдат и ополченцев Красной армии. Траншею, в которой защитники города нашли свой последний приют, впоследствии "законсервировали", то есть попросту закопали. Дальнейшая судьба братского захоронения Степану Волосевичу неизвестна. Скорее всего, считает он, прах убитых по-прежнему покоится там, где его оставили ижорские рабочие. Списки с именами и фамилиями из "первого отдела" странным образом исчезли. После войны их так и не смогли найти. Поэтому поименно вспомнить всех, кто сгорел в прифронтовом ижорском "крематории", сегодня практически невозможно...

—В том, что перезахоронения не было, я совершенно уверен. Говорят, в пятидесятые годы на месте братского захоронения поставили памятник. Я, к сожалению, тогда уже не мог попасть на завод и не знаю, что на памятнике написано. А это существенно, ибо в исторической книге "Ижорцы", выпущенной в 1960 году, черным по белому написано: заводской крематорий сжигал тела погибших от голода и обстрелов колпинских блокадников. В то время как на самом деле это были воины Красной армии. Возможно, создатели памятного знака повторили ошибку (или сознательный обман?) автора книги. Нас же, свидетелей и участников тех событий, почти никого не осталось в живых. А уносить с собой в могилу правду о страшных ижорских блокадных днях мне не хотелось бы...

Откуда в нем эта энергия, эта поразительная неуспокоенность, неравнодушие к чужим судьбам? Эта почти детская уверенность, что все в жизни должно быть устроено "как положено"? В соответствии с христианскими и человеческими законами. Как будто факты его собственной судьбы и биографии ни разу не опровергали сего наивного тезиса. Как будто жизнь и власть ни разу не били его лицом об стол...

Человек старой, советской закалки, Степан Волосевич не верит в Бога. Но для того чтобы оставаться честным перед самим собой и своей памятью, такая вера необязательна.

—Нужно перезахоронить ребят, вернуть им имена. Родные, наверное, даже не знают, где их чада похоронены...

Степан Волосевич поднимается из-за стола, идет варить кофе, как будто давая понять, что "деловой разговор" окончен. Вслед за кофейными чашками на кухонном столе появляется душистый мед—с его личной, персональной пасеки. Мед пахнет цветами и травами ушедшего лета, переливается на свету смоляным янтарным блеском... Дорога на пасеку не близкая—километров сорок на электричке. В девяносто лет не набегаешься. И все-таки...

—Пчеловодству меня еще отец обучил. И я, признаться, давно о собственной пасеке мечтал. Купил участок с домом, ульи поставил. Теперь вот на пенсии, сам себе и пчелам хозяин. Пчелы—они как люди: душевного отношения требуют...

Помолчал, задумчиво постучал о стол черенком кофейной ложки:

—Ты вот что, про меня много не пиши. Чтоб люди не подумали: мол, распустил мужик перья на старости лет, расхвастался почем зря. Ты, главное, расскажи про тех солдат, что в безымянной траншее за цехом похоронены. А то ведь некрасиво получается. Люди за Родину жизнь отдали, а о них теперь и вспомнить некому.И за мертвых обидно, и перед живыми стыдно...

Андрей ВЕРМИШЕВ
Фото автора

"Я пришла с войны в двадцать восемь лет"

Блокадные годы отодвигаются все дальше в глубь времен. Поэтому сами слова "блокада", "блокадник", увы, все чаще ассоциируются не с трагедией и героизмом тех событий, а с какими-то собесовскими хлопотами, очередями, льготами. И все меньше остается людей, которые могут просто рассказать—часто уже правнукам—о пережитых нечеловеческих страданиях, о силе духа, которая помогла выстоять.

Одно дело—дежурное мероприятие в школе или в красном уголке. Другое—когда бабушка, родная, близкая, домашняя, вспоминает о своей жизни. Правда, часто они вспоминают пережитое очень скупо. И не потому, что память подводит. Просто воспоминания тяжелые. Мария Васильевна Сенина, которой за 80, говорит: "Не хочется об этом говорить. Страшно".

—Я как-то раз своим устроила... блокаду. Внуки капризничали. Я говорю внучке: "Бери кастрюлю с водой". Она смотрит на меня. "Бери,—говорю.—А теперь на огонь ставь". Вода вскипела. Я взяла кусок хлеба, на глаз граммов 150 отрезала—и в кипяток, в эту кастрюлю четырехлитровую покрошила. Они смотрят на меня удивленно. "Вот это дневная норма питания в блокаду". Это чтобы не капризничали: то невкусно, это не так...

...Мария Васильевна прожила в блокадном городе самые страшные 1941 и 1942 годы. С 1942 года была на фронте, под Невской Дубровкой, а дальше прошла со своей дивизией по Прибалтике, Польше, Чехословакии, Германии... День прорыва блокады запомнился грохотом салюта. Но гораздо ярче запечатлелось в памяти другое, то, что кому-то может показаться негероическим, чересчур бытовым... Да и работа у Марии Васильевны была в армии что ни на есть "жизненная"—почти сразу же после того, как ее призвали в транспортную роту, был убит повар, и молодой женщине (схоронившей в блокаду обоих родителей и мужа) довелось кормить оборонявших город бойцов.

—Я как пришла в армию, сразу паек выдали, семьсот граммов хлеба. А старшина наш все повторял: девочки, только не ешьте сразу, нельзя. Теперь-то все знают, что можно было просто погибнуть, если сразу съесть... А была совсем слабая. По лестнице к себе поднимаешься на третий этаж, одной рукой за перила держишься, чтобы не упасть, а другой рукой ногу на ступеньку переставляешь... Так что армия меня от гибели спасла. До войны я работала на "Светлане", оттуда в декрет ушла, а назад вернуться не успела. Дети умерли перед самой войной. Мне, как неработающей, полагались 125 граммов хлеба, мужу—250, он работал, был на казарменном положении на Балтийском заводе. И не выдержал голода, умер. Я вообще думаю, что женщины у нас сильнее, выносливее мужчин, все на нас держится.

(Во время блокады, говорит М. В., многие молодые женщины обнаруживали неполадки с организмом, принимали их за беременность и в страхе бежали к врачу: ребенок сейчас, в это время—катастрофа... Помнит женщину-врача, которая грубовато успокаивала девчонок: "Ишь какая выискалась, живешь, что ли богато, ешь досыта? Тоже мне, беременная нашлась..." Сбои были следствием голода и холода...)

—Итак, вы стали поваром. Чем кормили солдат?

—Я расскажу, так вы не поверите. Потом-то полегче стало, крупы появились, когда в наступление пошли. А сначала из муки клецки, одна мука. Закипячу воду, сделаю такую болтушку и ложкой эти клецки мучные кидаю. И еще такие лепешки делала, вроде лапши, мы их "портянками" называли. А потом уже и крупы, и консервы иногда. Помню, в Красном селе нашли сыр такой, в бочках, много сыра. Раздали как сухой паек. Тяжело было. Когда пошли в наступление, хоть и не на самой передовой была, всего хватило. Кто ранен, кто контужен, кто убит... Вечером кашу сварю, беру такие термосы большие, на тридцать—сорок человек, и тащу эту кашу на себе. Один раз ранена была, правда, легко. Но сейчас инвалидность у меня по общему заболеванию, ранение не считается. Но тут я сама виновата.

—То есть?

—Лежала я в госпитале и переживала, не слышала ничего из-за контузии. Реву, реву, а доктор на меня как топнет ногой: "Успокойся, будешь слышать, будешь говорить". Молодая же была—я с войны пришла в двадцать восемь лет. И тут машина приехала из нашей дивизии, девочки наши, бойцы. Вот я и надумала сбежать из госпиталя, потому что не хотелось попадать в чужую часть, привыкать к новому коллективу, лучше со своими. Потому и справки о ранении нет. Да ничего, и так пенсия неплохая. Я помню, отдыхали мы с подружкой, мечтали живыми прийти с войны и дальше жить: вот, теперь будем на всем экономить, деньги подкапливать, чтобы пожить по-человечески. Лет пять хоть пожить, говорит она, а там и умереть не жалко...

—Много у вас в роте женщин было?

—Да нет. Помню двух девочек, совсем молоденьких, 1926 и 1924 годов рождения. Начальник склада, Раецкий его фамилия была, все говорил мне: все же постарше, поопытнее, чтобы за девочками присматривала. Но вообще-то нам повезло, бойцы наши нас уважали, как могли заботились. Бывает, останавливаемся где-нибудь и их просим: "Ребята, отойдите в сторонку куда". Женщине же, хоть и на войне, помыться нужно, переодеться, бельишко простирнуть и высушить. И мужчины наши очень хорошо все понимали, входили в положение. Вообще друг другу помогали. У нас ведь люди всяких профессий были. Я вот повар, а были портные, сапожники. Я на кухне управлюсь, иду портным помогать разглаживать шинели—там швы, клапаны... Разное, конечно, было. Помню, появилась одна и очень скоро в декрет ушла, комиссовали. А так все было нормально... Люди, конечно, все были разные. Один боец, например, очень боялся. С ним просто истерика случалась от одной мысли, что на передовую придется, под пули. Что ж, его ставили куда-нибудь на склады часовым, часовым тоже кому-то надо быть...

И всегда смеялись. Один боец все: "Маша, война кончится, женюсь на тебе". Не могли не смеяться. Потому что вокруг страшное, хотелось это страшное от себя оттолкнуть, прикрыться. Как от бомбежек пытались укрыться. Едешь в грузовике, и начинают бомбить. Из машины выскочишь, падаешь, прячешься под лист фанеры, под крышку от чемодана, какое там укрытие... Или зимой привал. Хочется полежать, куда лечь—на снег? Лап еловых постелешь и ложишься. И костерок разожжешь греться. А не всегда и можно разжечь костер, или, бывает, только загорелся—и тушить приходится, летят эти "рамы"...

...Потом уже столько стран прошли. Я уже подзабыла все эти города, в которых побывали. И все думали: Боже мой, в какую это нас даль занесло! Неужели отсюда вернемся домой? Один день прожит—и слава Богу, живы пока... А что вернулась и жива до сих пор—я думаю, это судьба...

—А потом, после войны?

—Хотела вернуться на "Светлану". Но в мой цех уже брали только с десятилеткой, а у меня семилетка—у матери с отцом нас восемь было, пришлось рано идти работать... Ну, я потом устроилась, работала. Только три года, как бросила работу. Замуж вышла. Приходят двое братьев с фронта, а с ними парень молодой, Сенин. Они меня и начали уговаривать: выходи за него, ты молодая, что ж в одиночестве хорошего? Не сразу, но уговорили. Он, муж мой второй, умер в 90-м году. А я живу. У меня уже дочери пятьдесят лет. Правнука хочу дождаться. И она все говорит: "Мама, я вот молодая, и то чуть что—устаю, а у тебя откуда столько сил?" Даже белье отжать она возьмется, а все течет. А я отожму до капельки. Просто закалка такая. Я все время говорю молодым: самое главное—это сила воли. Если бы ее не было, вряд ли удалось бы выжить. А так я даже не знаю, что вам и рассказывать, я же не была на самой передовой...

Светлана ГАВРИЛИНА

Музей—не архивная пыль...

Этой стихотворной строчкой начал торжество в связи с тридцатилетием историко-краеведческого музея 289-й школы Красносельского района его давний хранитель Ефим Юрьевич Зубаровский. Потом пел детский хор. Одна песня называлась "Прорыв", вторая—"Гора Воронья"... Автор всех текстов—Зубаровский. Ну да кто же этого не знает в здешних окрестностях? Смело скажу: Ефим Юрьевич Зубаровский за сорок пять лет учительства стал в этих местах такой же достопримечательностью, как школа с башенкой, как дудергофский родник, как сама Воронья гора, с высшей точки которой виден весь наш прекрасный город.

Судьба распорядилась—стоять этой школе на Вороньей горе в старинном селении Дудорово, при Петре переименованном в Дудергоф, а уже в наше время (с 1950 года)—в поселок Можайский. А начиналась ее история в здании с башенкой, которое было и остается тонкой архитектурной приметой местности на фоне элегического пейзажа.

В 1965 году выпускник Ленинградского университета, учитель немецкого языка Ефим Юрьевич Зубаровский стал директором этой школы. Вот тогда и родилась идея—создать музей. Они работали вместе, воодушевленно—учительница Нина Ивановна Хямяляйнен, ее муж Иван Иванович Хямяляйнен и Ефим Юрьевич Зубаровский. Три имени у истоков. Три десятилетия их творческих поисков, в которые вовлечена вся школа, ветераны войны, старожилы...

И вот они собрались отпраздновать его тридцатилетие в январские, традиционно блокадные дни—седовласые ветераны, те, кто сражался на Вороньей горе и остановил врага на подступах к Ленинграду; самые первые краеведы-школьники, а ныне врачи, инженеры, переводчики; друзья отовсюду—директор совхоза Р. Н. Целиков, контр-адмирал с крейсера "Аврора" Л. Д. Чернавин, архитектор А. Д. Левенков; народ официальный, который оставил свои чины за порогом школы и слился с массой, подпевая детскому хору.

Сотни эпизодов войны на дудергофских высотах хранит музей: и подвиг авроровцев, и подвиг бойцов и командиров 63-й гвардейской дивизии, которые в январе 1944 года водрузили на Вороньей горе знамя Победы.

И если два десятка воевавших мужчин (простите, что не называют все ваши имена) воспряли духом, если их чувство в тот день было таким сильным, а на душе потеплело, значит, музей греет. Музей—это их привал.

А хранителю огня Ефиму Юрьевичу Зубаровскому вручили паспорт музея еще на новые пять лет. Значит, все остается, как было...

Людмила РЕГИНЯ

Нам дней блокадных не забыть

Концерт под таким названием прошел недавно в исполнении театра "Родом из блокады" в концертном зале Гигант-холла. Впрочем, прошел—не совсем верно. Незадолго до окончания прекрасного спектакля раздался звонок с анонимным сообщением о якобы заложенной в зале бомбе. Концерт пришлось прервать, а зрителей—эвакуировать. Слова-то какие—бомба, эвакуировать, словно речь идет о зоне военных действий. Надо сказать, к чести собравшихся в зале ветеранов, что никакой паники не возникло: людей, глядевших в глаза смерти в самой страшной войне, не испугать пустыми угрозами. Никаких истерик, обмороков, криков. Кое-кто даже не хотел уходить—мол, нас, блокадников, так просто не возьмешь. И как когда-то, они затянули песню—верный, проверенный еще в блокаду способ справиться со страхом.

И снова нахлынули воспоминания—чужой злобный выпад попал мимо цели, надежды отравить людям праздник не оправдались. Ленинградцы вспоминали, как в те блокадные дни концерты блокадных театров вот так же прерывались фашистскими налетами. Театр музыкальной комедии, Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, актеры Театра оперы и балета им. Кирова, выступавшие на сцене Городского театра, ныне Театра Комедии, музыканты Филармонии—у них хватило нравственных и физических сил доказать, что, когда грохочут пушки, музы не молчат. Они пели, играли, читали стихи и тем самым тоже приближали победу.

Они ездили на передовую, выступали на кораблях, в блиндажах, в землянках, они были такими же бойцами, только вместо автоматов их оружием был талант и беззаветное желание дарить людям радость.

У блокадных артистов сложилась традиция—прерванный бомбежкой спектакль принято было доигрывать с того самого места, где пришлось опустить занавес.

И этот прерванный в мирное время спектакль будет доигран. В самое ближайшее время театр "Родом из блокады" вновь пригласит всех зрителей на завершение концерта, чтобы доказать, что связь времен не прервалась и блокадную память не стереть никакими наветами.

Ольга НИКОНОВА

"О этот ад! Он с нами как наследство"

До Великой Отечественной войны в Ленинграде было 17 детских домов, где воспитывались 1025 детей. За годы блокады сирот стало более 40 тысяч. Разве можно забыть время, когда ребятишки вместо игрушек играли в прятки со смертью.

Будучи одиннадцатилетней девочкой, я шесть месяцев жила одна с пятилетним братом в холодной без стекол квартире почти пустого семидесятиквартирного дома на Московском шоссе, 11/13, корп. 10 (около парка Победы). Известно, что за Московской заставой была прифронтовая зона, и проходили туда только по пропускам.

Отец умер 31 декабря 1941 г., мама работала на военном заводе и приходила навестить нас один раз в неделю, а 15 мая 1942 г. она погибла. Примерно через месяц к нам пришла дворник тетя Поля и сказала, чтобы я с братом пошла в детский дом. Но как это сделать? Транспорта не было, братишка чуть живой от голода и холода. У меня опухли ноги настолько, что я с трудом надевала мамины туфли (как мне потом объяснили, было обострение ревматизма). И ведь догадалась! Выкупила дневной паек хлеба, взяла точилку для карандашей, отрезала лепесток хлебушка и говорила брату, что, как только он пройдет три дома, я буду отрезать ему по тонкому кусочку хлеба. Мы почти целый день добирались в детский приемник на Разъезжей улице. На Лиговском проспекте брат упал и не мог больше встать, да и хлеб уже кончился. Проходивший военный взял его на руки и принес в медсанчасть детского приемника-распределителя. Так я спасла от смерти брата. Нас лечили в течение месяца. Очень помогали прогулки на Волковском кладбище, где мы ели траву, особенно любили листья липы, искали и жевали еловую смолу.

В августе месяце 1942 г. нас эвакуировали с 76-м детским домом в Ивановскую область, Пучежский район. Детей переправляли через Ладогу на барже под постоянными обстрелами. Слышали, как волновались наши сопровождающие—тонуло судно с детьми. На "большой земле" мы ползком добрались до железнодорожного состава, где в вагоне нам дали по большому куску хлеба и даже шоколадку. Какое это было счастье! Время это сейчас вспоминается как страшный сон.

В селе Мортки ребят разместили в помещении фабрики. Дети еще не окрепли, часто болели, палаты огромные и холодные. Старшие ребята ходили по деревням и просили милостыню, а когда ее приносили, то делили на весь отряд по очереди.

Наряду с учебой ребята обрабатывали землю, выращивали овощи и картофель, девочки учились плести на коклюшках, ходили в колхозы теребить лен.

Гордостью детского дома был хор, созданный Ювеналием Павловичем, артистом Ленинградской филармонии. Наш детский хор прославился в Ивановской области, и благодаря гастролям значительно улучшилась материальная база детдома. Даже были сшиты костюмы для хористов.

В 1946 г. детский дом возвратился в Ленинград в полном составе—сто человек. Этим гордился весь коллектив. У многих началась сложная самостоятельная жизнь.

В суровое военное время нас объединяло общее горе, вызванное войной. Сформировалось достаточно устойчивое детдомовское братство, у многих оно сохранилось на всю жизнь.

Союз появился не сразу. Сначала бывшие воспитанники периодически встречались с воспитателями. Вспоминали военное время, делились своими радостями, вместе горевали об утратах. В 80-е годы стали традиционными встречи в святые для ленинградцев дни—в день прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда, в День Победы. Чаще стали встречаться с действующими детскими домами города.

В 1987 г. наш союз был официально зарегистрирован, а по существу, ему нынче исполнилось 30 лет. С 1995 г. число членов союза увеличилось в два раза. Принято три тысячи человек, и создано 16 районных организаций. Приютил нас культурный центр "Надежда", выделив семиметровую комнату на четвертом этаже бывшего Горчаковского дворца. И только в январе 1998 г. нам предоставили помещение на Пушкинской, 5, которое нужно еще ремонтировать. Теперь на первый план выдвинулась необходимость оказания помощи инвалидам (а их у нас более 50%), одиноким. По микрорайонам ведется индивидуальная работа с членами союза. Другими словами, помогаем социальным работникам на общественных началах.

Мы умеем устраивать праздники, встречи, отмечаем юбилейные даты членов союза с чаепитием и скромными подарками. Бывают встречи с ребятами детских домов, расположенных в микрорайоне.

Подчас беремся за решение сложных, в том числе жилищных, вопросов. Так, в 1997 г. председателю союза Н. Фадеевой удалось помочь получить однокомнатную квартиру бывшей воспитательнице детдома Баранцевой О. П., которая в возрасте 88 лет с дочерью-пенсионеркой три года скиталась по углам друзей и знакомых из-за соседей по коммунальной квартире, создававших невыносимые условия жизни.

Фадееву Н. В. единогласно избрали председателем правления теперь уже Регионального объединения воспитанников детских домов блокадного Ленинграда. О нашем союзе знают не многие—мы не гонимся за рекламой. Но всегда будем рады новым товарищам, знающим, что такое блокадное детство, и готовым крепить наше блокадное братство.

Зинаида ГРИГОРЬЕВА